

ОТ НАРКОТИЗМА ДО МЕНСТРУАЦИИ: МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В ИСТОРИЧЕ- СКОМ ПОЛЕ

Материал
подготовили:

Анна Кротова
Анна Смирнова

Маргинальные исследования — какие они? Когда мы говорим о маргинальности, имеем ли мы в виду исключительно табуированные темы, или любое исследование может быть маргинальным? Вместе с Павлом Васильевым, кандидатом исторических наук и старшим преподавателем Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, мы разбираемся в маргинальности, методах исторического исследования и советской истории менструации.



Павел Васильев — старший преподаватель Школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ СПб, кандидат исторических наук. Сфера научных интересов: советская история, гендерная история, история эмоций, история медицины, история преступности и права, история алкоголя и наркотиков, история Центральной и Восточной Европы в Новое и Новейшее время, история Санкт-Петербурга.

Анна Кротова: Расскажите немного о своем научном пути: где вы получали образование и о чем писали и пишете сейчас?

Павел Васильев: Я расскажу, наверно, издалека. Я поступил в 2004 году на исторический факультет СПбГУ на кафедру новейшей истории России. На втором курсе у меня появился интерес к маргинальному сюжету, связанному с употреблением и распространением наркотиков (или наркотизмом, как я часто пишу) в ранний советский период. Появился он довольно случайно: я на одном из курсов встретил информацию о том, что оказывается, в годы Гражданской войны в Петрограде был популярен кокаин. Для меня это было неким открытием, шоком в каком-то смысле, потому что это не укладывалось в привычные рамки историописания, которые мне были на тот момент известны. Поэтому показалось, что тема перспективная и можно ее дальше исследовать, чем я и занимаюсь на протяжении более чем 15 лет. Это, наверно, первая маргинальная тема, которая меня заинтересовала и с тех пор не отпускает. В той или иной степени мои интересы связаны с историей борьбы с наркотиками, с алкоголем, а в последнее время меня интересуют лекарственные средства в более широком понимании, так что тенденция продолжается. Я занимался сюжетами, которые связаны с историей наркотических средств, на специалитете в Петербурге, в СПбГУ, затем в магистратуре в Центрально-Европейском университете в Будапеште, и затем снова по возвращении в аспирантуру в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Моя кандидатская диссертация как раз посвящена истории борьбы с наркотиками на примере раннесоветской России в Петрограде-Ленинграде. Это достаточно маргинальный блок исследований, который связан с темой, табуированной и в современном общественно-политическом дискурсе, и в исторических исследованиях.

Второй блок, который я могу для себя выделить, тематически связан с моим постдоком в Центре по истории эмоций в Берлине, в рамках которого я занимался исследованием эмоций в раннесоветском уголовном праве. История эмоций — это тоже достаточно странное, маргинальное направление, которое появилось относительно недавно. И хотя сейчас оно модное и развивающееся, при этом оно как будто должно постоянно доказывать свое право на существование. Оно подвергается зачастую резкой, но опять же зачастую справедливой критике.

Третья маргинальная тема — это мой второй постдок, который я сделал в Академии Полонского в Иерусалиме с 2017 по 2019 год, до того как я попал в Питерскую Вышку. Он посвящен менструации

в Советском Союзе или, шире — истории менструального цикла в советской и постсоветской России. Здесь тоже есть маргинальная табуированная тематика, которая и сегодня достаточно редко обсуждается, хотя какие-то изменения в последнее время прослеживаются. Но что касается истории — существует очень мало исследований, которые фокусируются именно на менструации. Поэтому можно сказать, что многие темы, которые я исследую, достаточно маргинальны.

Анна Смирнова: Вы сами как-то объясняете себе, почему у вас именно такой набор тем, почему ваши исследования связаны с чем-то маргинальным? Почему не политическая история, не культуральная история, а такие темы, которые всегда на грани, в которых есть упоминание табу и прочих сложных вопросов?

П.В.: Отличный вопрос. Я считаю, что занимаюсь культуральной историей, и не отрицаю, что нахожусь под влиянием новой культуральной истории. Вопросы, которые я задаю своим источникам и текстам, это отражают.

Я думаю, что мне как исследователю немного комфортнее работать в ситуации, когда я чувствую себя первопроходцем, и эта ситуация возможна далеко не в каждом поле. Понятно, что есть весьма исследованные сюжеты, и что каждое новое поколение может поставить новые вопросы к источникам. Но источники все хорошо известны, и любое открытие совершает некий переворот. Мне в таком поле сложнее работать — мне интереснее открывать какие-то вещи, о которых никто ничего или почти ничего не знает. Мне, видимо, эвристически проще работать с такого рода вопросами.

Хотя здесь есть обратная сторона — высокий риск у такого рода проектов: риск, что результат будет нулевым, что не найдутся источники, что не получится применить те или иные подходы.

В этом плане может быть показательным пример с моим вторым постдоком, который я делал в Иерусалиме. Там был довольно интересный бывший директор Института Ван Лира — Габриэль Моцкин, достаточно эксцентричный человек. Он говорил, что он специально отбирал высокорисковые проекты, понимая, что проект может как выстрелить, так и совершенно не оправдаться. Но эта была его осознанная стратегия — он считал, что такие проекты заслуживают поддержки.

Мне кажется, что моя исследовательская интуиция помогала искать сюжеты, которые вызывают эффект: «Ничего себе! Это было в истории, и это было вот так!». Наверное, это рискованная стратегия, и я не всем ее могу посоветовать, она может не оправдаться.

А.К.: А легко ли пропускали такие темы для защиты ВКР в бакалавриате и магистратуре? Кажется, что на постдоке с этим было свободнее.

П.В.: Вы знаете, это удивительно, но мне часто этот вопрос задавали коллеги за границей — видимо, есть представление, что в России очень консервативный академический климат. Но во время обучения в СПбГУ и в Институте истории, честно говоря, у меня не было ни одной хоть сколько-нибудь серьезной конфронтации со старшими коллегами, которые сказали бы, что тема истории наркотиков несерьезна и не может быть принята к защите. Мне либо повезло, либо сообщество в то время (а это была середина 2000-х годов и начало 2010-х), было готово к такого рода темам. Может быть, еще не было пресловутой консервативной волны, но у меня не было никаких инцидентов.

А.С.: Это подводит нас к вопросу о существовании маргинальных сюжетов. Что мы под ними подразумеваем? Зачастую кажется, что внутри академии их вообще не может быть: мы как ученые смотрим на разные объекты и субъекты, и у нас к ним не может быть или, по крайней мере, не должно быть предвзятого отношения. Мы просто выбираем тему, исследуем ее, и, если она маргинальна в обществе или культуре, для нас она может такой и не быть. Как тогда применять эту категорию?

П.В.: Я с вами согласен. Но я боюсь, что на практике маргинальный статус темы в обществе выливается в маргинальный статус темы в академических исследованиях. По поводу менструации и менструального цикла — это хорошо заметно. Само табу на разговоры о менструации, которое существует во многих обществах (несмотря на некоторые изменения, скажем, в последние пять лет), влияет существенным образом на финансирование подобных проектов, и в конечном итоге на выбор исследовательской стратегии.

Нет смысла заниматься темами, которые плохо финансируются и которые никто не поддерживает. Может показаться, что здесь есть противоречие с тем, о чем только что спросила Анна, но вопрос о том, допускать ли тему до защиты на бакалавриате на втором курсе, имеет достаточно низкие ставки для принятия решения, деньги тут не выделяются. А финансирование проекта — это серьезные деньги. Если кажется, что тема маргинальна, не особо хочется вкладываться. Хочется вложиться во что-то прибыльное, то, что на слуху. Хотя все постепенно меняется, и есть определенный хайп. Может, и менструальный хайп тоже помогает исследованию менструации поднять некоторые деньги.

А.С.: Это интересно, потому что я сразу подумала про разницу между естественными науками и гуманитарными. Это предположение, конечно, но интересно, насколько финансируются подобные исследования в медицине и фармакологии, то есть естественных науках, в сравнении с гуманитарными? Можно ли говорить о каком-то глобальном влиянии патриархата в целом: мы не говорим об этом в контексте культуры, но какая-то помощь женщинам в этом вопросе оказывается с более материальной точки зрения — лекарствами и гигиеническими средствами.

П.В.: Я с вами согласен. Медикализация в теме менструального цикла — это единственная рамка, сквозь которую мы вообще способны о теме говорить. Это меняется, но достаточно медленно, и это неоднозначный и неоднонаправленный процесс — это зигзаги публичной политики и кампаний.

А.К.: Мне кажется, самая большая разница в этих исследованиях — в их характере. Гуманитарные исследования более фундаментальные, а исследования менструации с точки зрения медицины имеют более прикладной характер. Возможно, такие исследования и финансируются более охотно. Тогда получается, что маргинальность состоит в том, что нам нужно доказать, почему нам стоит это изучать.

П.В.: Да, это стратегия, которой многие исследователи и исследовательницы придерживаются — как вы и сказали, они пытаются доказать свою полезность (хотя не всем нравится логика, что надо доказывать свою практическую полезность, иначе гуманитарное знание не заслуживает финансирования или уважения). У меня есть коллега из Шотландии, Хилари Критчли. Она занимается гинекологией, работает в этой медицинской рамке, и она тоже считает, что существование менструального табу влияет на финансирование медицинских исследований в том числе. Так что, возможно, не только в гуманитарных науках такая ситуация.

А.С.: Получается, что мы имеем право говорить о том, что маргинальность существует внутри научного поля. Некоторые темы могут быть считаны как маргинальные. Но у меня есть предположение, или даже предубеждение о том, что если бы что-то было маргинальным — это бы запретили. Насколько я знаю, такие кейсы есть — например, когда студенты пытаются в своем исследовании изучать запрещенные организации, а их не допускают к защите (это пример из опыта знакомых).

П.В.: Да, понятно, что есть требования законодательства, которые, возможно, выливаются в такие ситуации — темы выпадают из поля зрения исследователей вообще. Но если задуматься,

то это опасно. Тогда, даже если мы понимаем, что какая-то организация или феномен однозначно деструктивны, получается, что с практической точки зрения мы не знаем, что это за организация, сколько в ней участников, какая у нее идеология. И как без этого, условно, бороться с ней — неясно. Либо нужно все это делегировать специализированным учреждениям (и, может, так и происходит) — тогда это другой разговор.

А.С.: Следующий вопрос будет тоже касаться науки, но скорее в контексте образования и студенческого восприятия. Вы недавно упоминали интересный кейс, который произошел с несколькими курсами, которые вы ведете — вы могли бы рассказать о нем подробнее для наших читателей? Он был связан, насколько я помню, с текстами, которые вы давали для прочтения к семинару, и реакцией на них.

П.В.: Этот кейс воплощает некое противоречие. С одной стороны — устойчивый интерес к маргинальным темам, который я наблюдаю, и, с другой стороны, ощущение, что во многих курсах чувствительные темы (связанные с насилием или сексуальностью) становятся неприемлемыми. Понятно, что это связано с изменениями в культуре в целом и в культуре восприятия — ср. дискуссии о новой этике. Но для меня стало интересным открытием, что появляются люди, которые занимаются историей профессионально или изучают ее, но при этом не готовы соприкоснуться с ее темными сторонами. Здесь у меня нет однозначного ответа. **Когда мы говорим: «Мы не будем читать тексты про сексуальное насилие»; «мы не будем читать про убийства в такие-то годы» или «мы не будем читать про скотобойню и убийства животных», — насколько мы готовы сделать допущение, что все эти темные стороны исторического процесса должны изучаться только по желанию?** Для меня это сложно представить, ведь тогда получается, что многие важные трагические события истории станут опциональными для изучения, в том числе и для тех, кто профессионально собирается заниматься историей. Наверно, какие-то пути разрешения есть, но я пока не вполне понимаю, как это сделать. Может, через какую-то систему предупреждений (trigger warning).

А.К.: А можете рассказать, что это были за тексты?

П.В.: Первый текст был на курсе по гендерной истории, и он содержал в себе в том числе описание инцеста. Было предупреждение о том, что текст содержит некоторый потенциально травмирующий контент, но в результате большинство просто отказались его читать, и пришлось заменить его на другой. Может, это было не лучшим выходом из ситуации, таким ad hoc решением, которое не вызвало полного удовлетворения. А второй текст, и его

обсуждение было раньше, еще в 2020 году, на семинаре по истории для экономистов. Текст был по истории животных, и у ребят с первого курса, вероятно, было представление о том, что история животных — это что-то такое милое, плюшевое, про кошечек и зайчиков. А мы читали про скотобойню, и это глубоко их шокировало. Тогда я еще не давал предупреждений, и это была моя ошибка, которую я усвоил. Хотя, как видно из первого примера, предупреждение — это не всегда эффективное средство.

А.С.: Интересно, как в таком случае изучать историю, ведь она вся в той или иной степени наполнена страшными и кровавыми событиями — войнами, болезнями и жестокостью. Если исследователь находится в историческом поле, он знает, что существовали казни, пытки, эпидемии, неравенство и не всегда было так хорошо, как сейчас. Как в этом случае проходить блокаду Ленинграда, Холокост, Первую и Вторую мировые — весь XX век! Каким образом обсуждать эти темы? Или же людей в большей степени задевают подробности и детальное описание — погружение в глубины контекста, а не просто перечисления количества погибших? Насколько существует граница между незэмоциональным и эмоциональным восприятием травмирующих тем?

П.В.: Может быть, более безопасная стратегия заключается в том, чтобы давать максимально отвлеченные статистические данные, которые не пробуждают в человеке висцеральный ужас. Но вопрос, который у меня возникает: насколько много мы узнаем из таких текстов, в которых мы просто читаем столбцы, где перечислены, например, сотни или сотни тысяч погибших, и они для нас сливаются? В этом плане человеческие истории, связанные в том числе с эмоциями, телесностью и насилием, больше нам рассказывают о непосредственном опыте. Это дискуссионный момент — я знаю, что у коллег есть разные подходы, и не все смотрят позитивно на саму категорию опыта и на то, как можно ее использовать в написании истории. Но мне кажется, что это важный вопрос, и поэтому я зачастую предлагаю тексты, которые направлены на то, чтобы достучаться до человеческого (или нечеловеческого, как в случае с животными) опыта. Но у этого есть обратная сторона, которую я открыл для себя.

А.К.: Маргинальность — это еще и разговор про границы, про объекты и субъекты, которых не видно в привычных рамках, в источниках. Можно ли сказать, что, изучая маргинальность, мы учимся читать между строк — видеть тех, о ком не пишут напрямую, но кто точно существует на периферии и все равно имеет влияние на исторический процесс? Если говорить проще, то как делаются маргинальные исследования?

П.В.: Мне кажется, что в целом это классический вопрос социальной истории, или, скорее, критиков социальной истории, который задавался в 1960-е годы в Америке: «Замечательно изучать историю женщин или историю афроамериканцев, но где вы найдете источники о них?» Мне кажется, что социальная история продемонстрировала, что такие источники существуют. Другое дело, что нужно быть более изобретательными. В социальной истории довольно часто использовались судебные документы, эго-документы, создавались архивы интервью устной истории. И я призываю действовать так же — не ограничиваться классическим набором источников, а мыслить шире, возможно, создавать самостоятельно источники (например, интервью). И таким образом проливать свет на жизнь людей, которые, как вы сказали, находятся между строк.

Конечно, не все эти документы будут в полном смысле слова документами от первого лица — там будут различные ограничения. Судебные или медицинские записи иногда представляют право прямой речи историческим субъектам, которые находились в тени, но это все равно опосредованная речь. В контексте полицейского участка или больницы речь остается не совсем свободной, и это надо понимать.

А.С.: Я бы тогда хотела перейти, если можно так сказать, к настоящей маргинальности, которая может существовать в научном поле. Можно выдвинуть предположение о том, что если даже в науке нет маргинальных тем, то точно есть маргинальные личности и поступки, например, плагиат. Это в большей степени вопрос личного опыта. Сталкивались ли вы с подобным? Как внутри сообщества происходит взаимодействие с подобными кейсами?

П.В.: На самом деле, у меня не так много было негативного опыта. Может, это и к лучшему. Понятно, что есть какие-то персонажи, которые считаются несколько необычными, может, их идеи не всегда приняты. Их могут относить не к науке, а, скажем, к паранауке — та же самая Новая хронология. Здесь есть хороший вопрос: если направление исследования настолько популярно, чуть ли не популярнее ортодоксального варианта, то может ли оно быть маргинальным? Я не знаю однозначного ответа.

Мне в данном контексте скорее вспомнился тот бывший директор Института Ван Лира, Габриэль Моцкин, который отбирал проекты весьма стратегически. Помимо проектов, которые связаны с табуированными темами (типа истории менструации), он считал важным финансировать проекты с малоизученными эпохами и регионами. Какой-нибудь Сасанидский Иран, который, может, никто не изучает. Но если вдруг появлялся проект, посвященный этому региону, то он его одобрял.

В этой стратегии, мне кажется, тоже есть какая-то маргинальность. Здесь речь идет не о нечестных людях, которые обманывают и выдвигают лжетеории. Это некая маргинальность, когда человек занимается сюжетами, которые никого особо не интересуют, которые при этом маргинальны в общественно-политическом дискурсе. Это может быть какой-то регион, который не особо интересен — никаких войн там не идет, ресурсов там нет, и поэтому он неинтересен. Или удаленными хронологически — какая-нибудь древняя история. И здесь появляется достаточно интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Получается, что человек занимается темами, которые не востребованы, и в современной логике не должен получать финансирование. Но тогда мы теряем большой пласт гуманитарного знания, который, может быть, окажется востребованным, в том числе и в практическом плане, но гораздо позже. Может, там в будущем найдут какой-то ресурс. В этом плане очень показательным является пример Арктики — и Россия, и другие страны заинтересованы в развитии данного региона, поэтому арктические исследования приобретают актуальность (передаю привет коллегам, которые занимаются данным направлением!).

А.К.: Можем тогда перейти к следующему вопросу, касающемуся вашего проекта «Устная и культуральная история менструации в советской и постсоветской России». Как проводилось исследование? Как студенты вам помогли, и какое у них осталось впечатление?

П.В.: Я проект начал еще в Ван Лире во время постака. Я изначально хотел писать скорее о раннесоветском периоде, опираться на медицинские источники и эго-документы, но постепенно мне стал интересен другой период, особенно время перехода от позднесоветского к постсоветскому, поэтому я решил собирать массив интервью устной истории. Так совпало, что в этот момент я пришел в Вышку и подал проект на Ярмарку проектов. За два года в общей сложности мы собрали порядка восьмидесяти интервью. Интервью разные, какие-то достаточно короткие, какие-то длились больше двух часов и не хотели заканчиваться. Они собраны и мной, и студентами с разных образовательных программ из разных кампусов. И сейчас у нас есть комплекс документов, который я считаю в некоторой степени уникальным и который надеюсь использовать в дальнейших исследованиях. Хотелось бы, чтобы в итоге он нашел какой-то формальный институциональный дом, и я над этим работаю.

Ребята должны были после знакомства с исследовательской литературой, основными принципами устной истории и уже существующим корпусом интервью, провести и расшифровать порядка двух

интервью, создать определенные теги и выделить ключевые моменты, которые собеседницы в интервью указывали. Я считаю, что работа была сделана хорошо.

Было много студенток, которые восприняли ее с энтузиазмом и вдохновились тематикой в силу своей активистской или феминистской деятельности. Как я сказал, в последние пять лет тема менструации довольно часто обсуждается. И в Москве, и в Петербурге, и в кампусах было довольно много студенток, которые были, что называется, «в теме» и были заинтересованы. Не только историки, но и другие гуманитарные и социальные специальности.

А.К.: А насколько сложно было искать людей, которые готовы были дать вам интервью?

П.В.: Я бы не сказал, что это было очень сложно. Изначально я был готов к тому, что никто не согласится мне дать интервью. Как я говорил выше, высокорискованные проекты — это high risk, high reward. На самом деле ситуация вышла неплохая. Начал я по методу снежного кома, когда ты в Фейсбуке¹ и в других социальных сетях пишешь объявление и по нему откликаются люди, друзья и друзья друзей через репосты. Так пришло около пятидесяти человек. А дальше сарафанное радио, и набралось еще больше. В этом смысле внедрение проекта с помощью Ярмарки проектов в Вышке было полезным, потому что многие ребята приехали из разных городов (и даже разных стран постсоветского пространства), и их контакты довольно обширны. Это помогло расширить географическую выборку, чтобы не ограничиваться интервью, взятыми только у жительниц Москвы и Ленинграда.

А.С.: А есть, может быть, пара основных выводов, которые вы сумели сделать на основе этих интервью? Что вы нашли? Какие в них основные дискурсы и основная риторика? Можем ли мы погрузиться сейчас в этот проект, если мы в нем не участвовали?

П.В.: Скоро будет публикация, я надеюсь, что выйдет статья в первой половине 2022 года. Она в процессе, поэтому я осторожно ее анонсирую. Она написана мной в соавторстве с Александрой Коноваловой — студенткой из Московского кампуса, она участвовала в проекте все два года. В этой статье мы смотрим на эволюцию менструальных практик с особым вниманием к эпохе перехода из советского в постсоветское состояние. И здесь некоторые выводы для тех, кто в тот период жил, могут показаться очевидными:

1. Деятельность организации Meta Platforms Inc и ее продукта Facebook была запрещена в Российской Федерации значительно позже того момента, когда состоялась эта беседа.

Советский Союз был в каком-то плане уникален в силу того, что, будучи достаточно развитым индустриальным государством, не имел налаженного производства прокладок или тампонов. Не только на западе, но и в Китае, например, была эпоха 1920-х и 1930-х годов, когда появляются первые прокладки и тампоны в широкой продаже, в то время как в СССР только в конце 1980-х годов появляются эти продукты, закупавшиеся из-за рубежа в рамках широкой экспансии товаров массового потребления. В статье мы пытаемся проследить, каким образом происходит эта перенастройка на новый постсоветский лад. Мы видим, что прокладки и тампоны были восприняты с большой эйфорией, хотя существовали и различные опасения по поводу их использования, которые отчасти сохраняются до сегодняшнего дня. Также существовали и финансовые ограничения — не будем забывать, что 1990-е годы — это период серьезного экономического кризиса, и товары, которые были способны обеспечить постсоветским женщинам мобильность и эффективность в любой день месяца, были доступны не каждой женщине, особенно в регионах.

А.С.: Это очень интересно, спасибо! Вы упомянули, что в исследованиях менструации часто бывает феминистский подтекст. Можно ли в таком случае сказать, что за каждой маргинальной темой стоит социальная или гражданская позиция? Желание своим исследованием поднять важный вопрос, дать ответы, в которых нуждается современное общество? Можно ли назвать это активизмом?

П.В.: Это сложный вопрос. Не все соглашались, когда исследования называют активистскими, некоторые стараются провести грань между активизмом и исследованием. По теме исследования менструации я работаю с коллегами из Британии, и там это довольно активно обсуждаемая тема. Мне кажется, что не всегда маргинальные исследования (если мы используем этот термин) являются активистскими, но, наверно, они хотя бы базируются на признании ценности той или иной табуированной темы. То есть утверждают, что имеет смысл говорить о менструации, имеет смысл говорить об эмоциях, о наркотиках, что это важные темы, заслуживающие разговора, а не просто какие-то бессмыслицы.

А.С.: Мы уже немного говорили об истории эмоций, поэтому сейчас хочется поговорить более направленно. Мне кажется, что она тоже во многом относится к практике «чтения между строк» и попытке найти что-то скрытое от глаз, интимное, при этом очевидно существующее в социальном поле. Как вообще происходит работа в исследовании истории эмоций? Можно ли сказать, что исследователь берет на себя ответственность говорить

о том, как чувствовали себя люди из других эпох — трактовать их эмоции и чувства?

П.В.: Отличный вопрос! В целом есть разные позиции и внутри самой истории. Есть жесткие критики, которые говорят о том, что мы не можем сказать ничего осмысленного об эмоциональном мире людей прошлого (опять же, потому что нет документов). Мне кажется, что такая жесткая позиция просто не обусловлена практикой, потому что мы видим, что документы по меньшей мере свидетельствуют нам о тех нарративах, которые присутствовали в отношении чувств и эмоций в ту или иную эпоху. Мы можем узнать, как люди прошлого говорили о своих эмоциях и чувствах. Это доступно в целом для практически любой эпохи, и история эмоций за последние 20 лет показала это на самом разном историческом материале. Другой вопрос, насколько мы можем проникнуть непосредственно в человеческий опыт и узнать, что эти люди «на самом деле» чувствовали. Здесь вопрос более дискуссионный, я не готов занимать какую-либо сторону, есть аргументы в пользу более мягкой позиции (когда мы говорим, что нам доступны только дискурсы), и есть аргументы в пользу более радикальной версии (когда мы претендуем на то, чтобы проникнуть вглубь человеческого опыта). Я могу порекомендовать недавнюю статью известного историка эмоций Яна Плампера в журнале American Historical Review про российскую революцию 1917 года как про чувственный опыт в плане запахов, звуков и прочего. Мне кажется, что он поднимает интересные методологические вопросы и достаточно удачно использует свои источники.

В подвопросе вы спрашивали, берет ли исследователь на себя ответственность за трактовку. В каком-то смысле да, это неизбежно, не только в поле истории эмоций. Мы трактуем слова, высказывания, пытаемся интерпретировать знаки вслед за каким-то из поворотов (семиотическим, лингвистическим, антропологическим, постмодернистским, культуральным...). Поэтому мы всегда берем на себя ответственность и иногда ошибаемся, а иногда нет.

А.С.: Я хочу сравнить две ваши статьи: статью 2018 года «Секс, наркотики и революционная справедливость» и недавнюю статью о рейв-культуре и телесности, которую вы презентовали в том числе на семинаре «Маргинальное в гуманитарных науках»². Несмотря на то, что они крайне отличаются

2. «Маргинальное в гуманитарных науках» — ежегодный семинар СНО Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, посвященный изучению и проблематике различных исторических, антропологических и культурологических вопросов, которые касаются маргинальных тем — насилия, сексуальности, преступности и всего, что остается и оставалось в истории за границами нормального и обыденного.

друг от друга, два объекта исследования повторяются — это наркотики и эмоции. В революционном Петрограде люди прибегали к использованию наркотических средств, как вы пишете, исходя из висцеральных, то есть телесных, эмоций и переживаний. Эти персонажи были маргиналами в какой-то степени, при этом их защита в суде опиралась на их эмоции, они надеялись не на наказание, а на помощь. В кейсе с рейвами в 1990-х годах, рейверы уже не являются очевидными маргиналами — это люди, вероятно ведущие обычный образ жизни? Как концептуализируется их употребление, как оно уходит (и уходит ли) из категории маргинального? Как оно отрефлексовано ими несколько десятилетий спустя? Каково наказание за подобные практики?

П.В.: Я сразу скажу, что я не на все вопросы смогу пока что ответить. Как меняется восприятие, это очень интересный вопрос. Мы с моей соавторкой Викторией Винокуровой пытались найти людей, которые ходили на рейвы в 1990-е, и поговорить с ними сегодня. Но это оказалось достаточно сложно. Когда потенциальные контакты понимали, что мы хотели спросить прежде всего про употребление наркотических веществ и наркоконтроль, то сразу исчезали. Мы рассчитываем в этом направлении продвигаться: из потенциально интересных источников это могут быть интернет-форумы, а также различные видеоисточники, которые доступны в интернете (например, документальные фильмы). Там, как мне и Виктории кажется, можно наблюдать как меняется восприятие рейвов в 1990-е, 2000-е, 2010-е и даже 2020-е годы. В целом я тоже не до конца уверен, что рейв в 1990-е — это нормальное или догмоцентричное место. В социальном и культурном ландшафте Петербурга эта практика остается довольно непривычной — нельзя сказать, что она стала мейнстримной. Другое дело, может быть, что конкретные вещества, которые употреблялись тогда, действительно как бы оказывались в рамках более уважаемой культуры рейва, чем если мы говорим о публичных домах Петрограда периода Гражданской войны, где тоже употребляются наркотики.

Сейчас я все больше думаю, что, может, и 1990-е годы порождали маргиналов (в социально-экономическом плане), в том числе тех, кто употреблял наркотики, и они тоже заслуживают того, чтобы их истории были рассказаны. И это может быть задачей для будущих поколений. Я знаю, что коллега Петр Мейлахс такой проект затевал — «Устная история употребления наркотиков в России в 1990-е годы». Но, насколько я понимаю, в этой теме еще можно много исследовать.

А.С.: Я бы хотела еще спросить о том, каково изучать тему, связанную с незаконной деятельностью? У преступлений есть срок давности, могут ли информанты бояться каких-то последствий?

П.В.: Да, это может даже не быть напрямую связано с употреблением наркотиков. Я думаю, что люди в основном перестраховываются. Они не столько боятся уголовного преследования, сколько обладают уже другим миром — работа, семья, и далеко не всем хочется раскрывать какую-то свою персону, которая в 1990-е ночами напролет танцевала на рейвах и употребляла определенные наркотики. Это, может быть, не самое желанное воспоминание для тех, кто изменил свой социальный статус. Но и юридические ограничения есть, и для многих людей это будет важный фактор — мы это можем только уважать и не можем заставлять рассказывать.

А.К.: Подходя к концу, хочется спросить про современную и, к сожалению, все еще актуальную тему — эпидемию COVID-19. Вы вели у нас курс по истории эпидемий, мы много говорили о болезнях, обществе и маргинальности в том числе. Мне кажется, до пандемии сама история эпидемий немного попадала в поле маргинального, каким бы оно ни было. Можем ли мы говорить, что эпидемии выходят из нее? Если смотреть на современную ситуацию — что сейчас относится к категории маргинального? Насколько она вообще стала подвижной в течение эпидемии?

П.В.: По истории эпидемий есть важный момент, который стоит подчеркнуть. Когда-то женская или гендерная история, экологическая история тоже были чем-то экзотичным и, может даже, маргинальным. Сейчас все это, по крайней мере в западном каноне, находится в мейнстриме и в отдельных странах даже относится к числу наиболее востребованных тем. И мы понимаем, что тематика неравенства или глобального потепления будет все более востребована в XXI веке. Поэтому, конечно, маргинальное исследование может в определенный момент выстрелить, оказаться очень полезным.

Вот в качестве примера мем, который я очень люблю — есть такой известный автор Ной Юваль Харари, и у него в книгах встречаются частые утверждения, что человечество в начале XXI века победило главные свои бичи, и в том числе болезни³. А на самом деле мы видим, что не может быть ничего дальше от правды. Получается, что мы в середине 2010-х годов были уверены, что мы все победили, а

3. К сожалению, мы не можем опубликовать мем в журнале, не нарушив авторского права, поэтому прибегнем к словесному описанию. Мем представляет собой два изображения с подписями. Слева: фотография Н.Ю. Харари и подпись «Over the past century, humankind has managed to do the impossible and rein in famine, plague and war». Справа: изображение коронавируса и подпись «Hold my beer».

потом внезапно некая маргинальная область — история эпидемий, которой занимались, грубо говоря, два-три историка, оказывается востребованной.

Поэтому мы не знаем, что может выстрелить. Если будет какая-то новая катастрофа или новый вызов, с которым человечеству придется столкнуться, то ранее маргинальные области исследований (например, история роботов) станут востребованными в практическом плане.

А.С.: А если говорить о самой эпидемии в контексте того, о чем мы говорили на курсе, есть ли у вас какие-то интересные замечания? Мы уже в течение практически двух лет наблюдаем пандемию, может, у вас есть какие-то выводы?

П.В.: Со своей стороны я могу сказать, что из-за моего давнего интереса к истории медицины у меня была абсолютная уверенность в том, что Харари называет победой над болезнью. Я думаю, что во многом это было продиктовано опытом относительно легкой победы над эпидемией лихорадки Эбола в 2014–2015 гг. (хотя стоит отметить, что она хоть и была относительно локальным заболеванием, но при этом привнесла огромные разрушения, прежде всего, в Западной Африке). И мне кажется, что пандемия COVID-19 обнажила наши (в том числе мои) несколько наивные представления о современной западной медицине, прогрессе и безопасности. Ну и, конечно, глобальное переформатирование — то, что мы с вами говорим в таком цифровом формате⁴, это масштабный сдвиг, который я не мог полностью предвидеть. Для меня это два главных вывода, но их, конечно, больше.

А.К.: Последний вопрос будет про вашу актуальную деятельность. Стоит ли студентам в следующие несколько лет ждать каких-то интересных проектов? Есть ли у вас наработки какой-то маргинальной темы, которую никто не изучал?

П.В.: У меня есть список идей того, что можно в будущем исследовать, и я стараюсь этим списком со студентами делиться. Как я сказал, я в последнее время много занимаюсь проблематикой лекарственных средств. Не уверен, насколько это маргинально, потому что лекарства не попадают ни под какое табу. Как исследовать лекарства с точки зрения экономической или технологической истории тоже понятно, здесь нет какой-то методологической новации. Хотя, если мы говорим уже о потреблении лекарств и о том, как это влияет на человеческие тела, тут есть интересный выход на историю тела,

4. Интервью проводилось в MS Teams. Из-за плохой связи не было возможности включить камеры, что придало определенный антураж беседе о маргинальном.

историю эмоций и историю человеческого опыта — темы, которые мы уже обсуждали. Мне хотелось бы, с одной стороны, в ближайшее время заниматься исследованиями, связанными с историей лекарств в советском контексте. С другой стороны, мне интересны сюжеты, которые связаны с гендерной историей (прежде всего военные и спортивные институты в гендерном измерении), и я пытаюсь в этом направлении тоже какую-то исследовательскую повестку придумать. Но это все пока в процессе формулирования. Так что оставайтесь на связи. Может, в следующем году на маргинальном семинаре будет что-то новое.